

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ И РЕДАКТОРОВ НОМЕРА

Йордан Люцканов, Мария Литовская,
Александр Медведев, Нина Барковская

О местосознаниях литературоведческой русистики¹

1

Конференция «Литературоведческая русистика: саморефлексия, геокультурная вариабельность, границы профессии», проходившая под эгидой Института литературы Болгарской академии наук, при содействии общества «Польша – Восток», собрала участников из 8 стран: Болгарии, Польши, России, Латвии, Франции, Грузии, Германии, Канады. Согласно программе, доклады были распределены по нескольким тематическим блокам, рассматривающим проблемы идентичности литературоведа-русиста, механизмы самосознания и границы профессии, национальные сообщества литературоведов в их актуальном состоянии, возможность саморефлексии русистов на материале истории литературоведения, вопросы научной и поведенческой стратегии, а также достаточно широкий спектр проблемно-тематических зон в литературе как специфическом субполе в общекультурном пространстве. Одной из центральных мыслей, объединивших разные доклады, явилась идея *Значимого Другого* и необходимости межкультурного диалога в самых разных его проявлениях, без чего, разумеется, невозможны самопознание и самооценка.

© Йордан Люцканов, Мария Литовская, Александр Медведев, Нина Барковская. 2015

© TSQ № 53. Summer 2015

¹ § 1, 4 и 8 написаны Н. Барковской, § 2 – А. Медведевым, Й. Люцкановым и М. Литовской, § 3 – Литовской, § 5 и 7 – Люцкановым, § 6 – Медведевым. Сохранен индивидуальный стиль соавторов.

Начало западной русистики можно возвести к Эжену Мельхиору де Вогюэ, который не только открыл Западу русскую литературу XIX в. и ввел понятие о русской душе, но самым этим фактом раскрыл универсальный характер русской литературы и во многом повлиял на формирование национального классического канона в России, прежде всего в отношении Гоголя, Тургенева, Толстого и Достоевского как «воплощения русского духа». В качестве аргумента приведем суждение, например, Николая Лескова: «я разделяю мнение тех, кто считает графа Л. Н. великим и даже величайшим современным писателем в мире. Но из всех критиков, восхваляющих графа, по моему мнению, иностранные критики судят о нашем великом писателе лучше и достойнее, чем критики русские, а из иностранцев, кажется, всех полнее, глубже и правильнее понимает и толкует сочинения гр. Толстого – виконт Мельхиор де Вогюэ»².

Статья Натальи Сакре обращает внимание на зависимость интереса Вогюэ к русской литературе от осознанной необходимости обновления собственной (французской) литературной продукции, имплицитно – на зависимость опорных понятий о Другом от «наших» представлений о должном «мы»; а также на теньевую сторону удачно найденной референциальной рамки – на продолжающую и в XXI в. зависимость французской рецепции русской литературы от того имплицитного рецептивного фильтра, которым оказывается концепт *русской души*.

Оказывается, такие разные русистики, как французская и болгарская, сформировались в ходе самокоррекции соответствующих национальных культур в поиске и с оглядкой на «другого», который мог бы стать «значимым». Во Франции Россия была востребована на указанную роль в 1880-х гг., но последующие случаи аналогичной востребованности, если такие были, или просто новые волны интереса к России, рецептивного фильтра, равного по значимости «русской душе», видимо, не создали.

Парадоксально – но лишь на первый взгляд – концептуальное обретение Вогюэ могло способствовать, хотя и косвенно, затягиванию складывавшейся после 1917 г. ситуации: созданию

² Лесков, Николай. Собрание сочинений в 11 т. Т. 11. М.: Худож. лит., 1958, с. 135.

климата терпимости к любым действиям советского режима и недоверия к его критикам – терпимости и недоверия, связанных с кризисом того, что можно назвать коллективным эго-утопическим дискурсом, и с психической готовностью доверить спасение мира соседу, соседней культурной общности (симптоматика духовной безответственности, альтернативной «бремени белого человека», проступающая, напр., в «Закате Запада» Освальда Шпенглера и в его болгарской рецепции). Создавая общий ключ для понимания северовосточного соседа, обретение Вогюэ не могло обеспечить не-русских истолкователей русской души противоядием от ее чар.

Социокультурная ситуация XX века способствовала расколу русистики на, условно говоря, советскую и несоветскую (ее, в свою очередь, на антисоветскую, просоветскую и просто несоветскую). История этого раскола еще не написана. Преодоление его – одна из сложных проблем современного филологического самосознания.

3

Вынесенная в заголовок тема при всей ее академической тяжеловесности оказалась на редкость травматичной. Впрочем, авторы концепции предполагали, что предложение самоописания (так или иначе, но разговор о современном положении научной дисциплины, которой занимается автор текста, предусматривал, в том числе и рефлексии по поводу своего положения в науке) чревато провоцированием повышенной эмоциональной вовлеченности субъекта речи в обсуждение проблемы.

Сразу в нескольких текстах читатель ощутит горечь исследователей, которые более или менее явно сожалеют о своем профессиональном выборе.

Для русистов вне России это сожаление зачастую обуславливается изменением общеполитической конъюнктуры: относительно недавно существовал социалистический лагерь, положение русистики было более или менее стабильным, имело государственную поддержку и обеспечивалось значительным количеством студентов и школьников, изучающих русский язык. Кроме того, были выработаны подходы к описанию русской культуры, которые можно было критически переосмыс-

ливать, отвергать или принимать, но которые, тем не менее, задавали исследователю определенную идеологическую рамку, устойчивость которой (в отличие от правомерности и правомочности) не подвергалась сомнению. На рубеже 1990-х годов эта конструкция рухнула: распались не только социалистический лагерь, но и Советский Союз, отменилась обязательность приобщения к русской культуре, сократилось финансирование и престижность соответствующих исследований, начался отток уже готовых исследователей, почти прекратился приток новых. Все это наложило на смену литературоведческого языка, необходимость быстрого освоения «общих мест» западной гуманитарной науки, не имевших возможности развиваться в советском литературоведении.

Соблазн постколониальных исследований напрямую увязывать язык и власть, не без сладострастия описывать разного рода символические формы угнетения колонизируемых и демонстрацию превосходства колонизаторов привел к пересмотру отношений внутри славянских литератур, среди литератур народов, населявших Российскую империю и СССР. С одной стороны, это позволило, заново пересмотрев наличный материал, выстроить новые истории национальных литератур, но с другой – потребовало жестко идеологически связать русскую литературу с языком символического (и не только) порабощения. Более чем за двадцать пять лет было создано целое направление, обличающее русскую классику в пренебрежении к интересам народов, входивших в сферу геополитических интересов России. Существовать в условиях этого нового идеологического давления исследователю-русисту так же непросто, как и в период давления имперского или коммунистического. Восхищение текстами демонизированного Злодея (или хотя бы продолжение нейтрального анализа поэтики этих текстов) порождает общественное неприятие и создает предпосылки для, мягко говоря, непростых нравственных коллизий.

Проговаривание этих коллизий, как, впрочем, и инвективы в адрес пророссийских и просоветских литературоведов-конформистов соседствуют со стремлением игнорировать

идеологические изменения, замкнувшись в тексте, или же с поисками новых подходов для определения отношений «своей» литературы с литературой русской, которую – хочешь не хочешь – невозможно сбросить со счетов: слишком значительную роль она играла в культуре. В принципе и обличение, и игнорирование, и пересмотр отношений «своего» и «русского» мы можем рассматривать как своеобразные формы проговаривания травмы, что, по идее, является шагом вперед по лечению от ее последствий.

У русистов в России свои проблемы, которые более или менее явно обозначены едва ли не во всех текстах российских участников конференции. Они также в конечном итоге связаны с изменением государственной политики, но постколониальная исследовательская парадигма не является для ученых главной. Российских участников куда более волнует изменение статуса литературоведения (вне зависимости от того, литература какой страны/народа изучается) как науки и – шире – литературы как вида искусства. Изменение, которое точнее было бы назвать снижением. Литература, перестав быть «колесиком и винтиком общепролетарского дела» или, иными словами, непосредственно помогать государству решать идеологические задачи, практически утратила государственную поддержку. Литературоведение как часть социального института литературы оказалось на академической периферии, а литературоведы вынуждены были пересматривать свое – до того достаточно привилегированное – положение в социуме. Результатом этого являются как, с одной стороны, постоянно прорывающиеся жалобы на невостребованность, ненужность, смыслоутрату и т. п., с другой – попытки увидеть ростки возможных способов взаимодействия литературоведения и общества (просветительские проекты, участие в конкурсах грантов и т.п.).

Наиболее противоречивым оказывается отношение исследователей к советскому наследию. Если говорить о собственно советской литературе, то она может рассматриваться как в терминах упадка-растления-конформизма, так и в ключе соответствия определенным общеевропейским тенденциям (интересу к «левому» искусству, смене критического пафоса на пафос приятия и оправдания). Еще недавно первый подход был едва ли не обще-

принятым, являясь реакцией на «официальное» литературоведение советского периода, а второй описывался исключительно как форма «ностальгии по советскому». Возрастающая временная дистанция, формирование новых социальных отношений позволили пересмотреть эту поляризацию. Георгий Прохоров на конкретном примере истории музея Достоевского, опираясь на документы, показывает, как жесткое идеологическое давление побуждало литературоведа к защите «своего» писателя и превращения его в автора, «полезного» советской власти. Такое поведение можно интерпретировать только как форму конформизма, но можно видеть в нем и прагматическое стремление препятствовать закрытию научного направления. На приоритете прагматического подхода к наследию советской эпохи, в частности, социалистического реализма, настаивает Татьяна Крутлова, ссылаясь на исследования французских социологов, которые считают конформизм не более чем адаптивной социализационной практикой, неизбежной при функционировании поля искусства. Но избежать инвектив в адрес недавнего прошлого, следы которого проступают в настоящем, сложно. Рассматривая роли, которые играли в прошлом ученые-литературоведы, можно, с одной стороны, огорчаться, что в современных условиях ученому не дано занимать позицию безоговорочно авторитетного культурного деятеля, а с другой – постоянно обнаруживать в деятельности литературоведов прошлого следы скрытого противостояния власти, объясняя только этим благополучие/неблагополучие своих героев, которые были авторитетными преподавателями и коллегами. Авторы статей стремятся избежать такой предвзятости, но представление о том, что интеллигент не может не быть диссидентом – это устойчивая модель, характерная для постсоветского самосознания, побуждающая порой вменить в вину власти даже средства, которые она выделяет на публикацию научного исследования.

Тексты, которые мы представили вашему вниманию, довольно отчетливо делятся на критические, оправдывающие и объясняющие.

Доклад Ольги Голубевой (Москва) очертил социокультурные предпосылки актуализации темы конференции: на материале истории литературы в России XIX в. и последующих времен были отмечены повторяющиеся ситуации невостребованности таланта, дара, способностей писателей (и литературоведов, их изучающих). Причины данного явления могут весьма различаться, но «трагедия невостребованности» всегда имеет социальные причины, с которыми приходится считаться. Прозвучавшая в докладе идея «договора» литератора/литературоведа со своим временем, была поддержана и рядом других докладчиков, полагавших одинаково непродуктивными стратегии «сопротивления» литературоведа наличествующим обстоятельствам и, напротив, «эскапизма», оборачивающегося культурной изоляцией ученого-филолога. О внутрикультурном диалоге акторов литературного поля с другими социальными институтами (психология, история, культурология, PR и проч.) шла речь в докладах Марии Литовской (Екатеринбург), Лилии Немченко (Екатеринбург), Марины Загидуллиной (Челябинск). Так, Литовская, констатируя кризис литературоцентризма в современной России, формулирует вопросы, связанные для филолога с задачей выживания: где работать? чему учить? что делать предметом научных исследований? Немченко привлекла внимание к пагубному *неразличению эстетического и политического* в актуальном российском культурном пространстве, что выливается в запреты и судебные процессы, шельмование авторов и/или их произведений, препятствует нормальному функционированию арт-критики, побуждает, вместе с тем, каждого из пишущих о культуре занимать вполне определенную политическую, этическую, эстетическую позицию. Примеры «плотного» вписывания литературы в государственную идеологию привели Татьяна Круглова (Екатеринбург), обратившаяся к теоретической доктрине и практике соцреализма, и Дмитрий Долгушин (Новосибирск), исследовавший «придворный локус» в русской литературе первой половины XIX в. Новосибирский исследователь показал на примере педагогической деятельности Михаила Муравьева, Василия Карамзина и Петра Плетнева, как русская литература находила «модусы присутствия и авторефлексии» в придворном пространстве того вре-

мени, указал причины, по которым «педагогическая поэма» Жуковского обернулась утопией, а вот деятельность Плетнева оказалась удачной, вписавшись в «фигурацию» придворного уклада. Идея «фигурации», найденная Долгушиным у Норберта Элиаса, означающая «такие формы общественной жизни, которые, несмотря на смену вовлеченных в них людей и некоторые изменения акцентировок, остаются по сути неизменными и воспроизводятся на протяжении поколений – не столько выстраиваемые людьми, сколько сами выстраивая людей, включенных в их пространство», кажется нам очень плодотворной, как для исследования, например, актуального положения русской литературы в бывших среднеазиатских советских республиках, сохранивших традиционный «аильский» уклад, так и при саморефлексии российского филолога, существующего, в огромном большинстве, в жестких административных рамках вузовской системы.

Обращение к жизненным «сценариям» выдающихся литературоведов (Алексея Лосева, Дмитрия Лихачева, Сергея Аверинцева, Юрия Лотмана, Ефима Эткинда, Петра Бицилли), предпринятое в докладах Андрея Каравашкина (Москва), Александра Медведева (Тюмень), Людмилы Луцевич (Варшава), Нины Барковской (Екатеринбург), Галины Петковой (София) имеет прямое отношение к собственной саморефлексии, выстраивая линию той научной традиции, от которой мы *не отказываемся*. Взгляд в прошлое проектирует будущее; жизнь и творчество ученых, избранных докладчиками, как раз и демонстрируют варианты очень непростой самореализации в наличной идеологической и социокультурной «фигурации». Петкова, используя архивные материалы, убедительно объяснила влияние на научную и преподавательскую карьеру русских филологов-эмигрантов Михаила Попруженко и Петра Бицилли идеологической и административной политики, существовавшей в Софийском университете. Смещение национального и профессионального, редукция национального различия, выразившаяся в словесной формуле «несмотря на то, что он (хотя он и) иностранец (русский), но (думает) как болгарин» поставили русских эмигрантов перед необходимостью выбирать между идентификацией с болгарской точкой зрения (тактика Попруженко, обеспечившая высокую репутацию и успех) и стремлением сохранить «свое» научное лицо, пожертвовав признанием коллег (случай Бицилли). Кроме того,

обращение ряда докладчиков к теоретическому наследию есть жест методологической саморефлексии, что особенно важно в ситуации эклектики аналитических подходов.

Участники конференции сознавали, что готовность к «договору» со своим временем потенциально чревата двумя опасностями: во-первых, в каждом конкретном случае возникает необходимость лично определять меру (границы) *допустимых компромиссов*; во-вторых, возникает опасность *размывания границ литературоведения*. О компромиссах, прямо или косвенно, шла речь в докладах Немченко, Елены Чхаидзе (Бохум). Дечка Чавдарова (Шумен) говорила о тенденции к размыванию границ науки о литературе, охотно занимающейся ныне смежной проблематикой антропологии, «нового историзма», постколониальных исследований, гендерными штудиями и проч., уходя при этом от анализа поэтики художественного произведения. Вместе с тем, исследователи русской литературы, как в России, так и за рубежом, вынуждены считаться с культурными запросами времени, неизбежно вовлекаясь в поле проблем, конфликтов, идей более широкого поля гуманитаристики (см. подробнее в статье Литовской). Трансформацию писательских репутаций и переакцентировку в изучении их творчества представили в докладах Георгий Прохоров (Коломна), Марина Уртминцева (Нижний Новгород).

Значительным достижением конференции можно считать освещение направлений и функций современной литературоведческой русистики в инокультурной среде. Так, Роман Мних (Седльце) назвал следующие предметные области: изучение русской классики; наследование традициям классики литературоведческой; изучение литературных связей своей страны с Россией, как в истории, так и в современности. В докладе Йордана Люцканова (София) была выдвинута продуктивная идея болгарской русистики как культурного посредника между литературой Болгарии и России и как «трансфера», конвертирующего ценности русской классики в немецкую и французскую культуру. Докладчик особо подчеркнул настоятельную потребность в обновлении болгарской русистики через решение двух задач: 1) инструментализировать бивалентность (русско-западность) интеллектуальной родословной болгарской гуманитарной культуры и 2) осознать свое место в (пост)истории византийского сооб-

щества. Более резкую (негативную) оценку современного состояния в этой области дал Людмил Димитров (София), полагающий, что в болгарской литературоведческой русистике нет научной школы, нет лидеров, нет перспектив. О необходимости новых принципов и подходов в современных исследованиях русской литературы говорили многие, поскольку в постсоветский период активно происходит деидеологизация русистики, русская литература теперь рассматривается *как одна из зарубежных литератур* в ряду других, в изучении и преподавании на первый план выходят общечеловеческие ценности.

Современное состояние литературоведческой русистики освещали в докладах Альдона Борковска (Седльце), Иоанна Пиотровска (Варшава), Наталья Сакрэ (Ренн), Элина Васильева (Даугавпилс), Захар Давыдов (Торонто), Иринэ Модебадзе и Татьяна Мегрелишвили (Тбилиси). Представленные обзоры показали, насколько богатый материал накоплен в той или иной национальной русистике и насколько серьезные трудности испытывают литературоведы на современном этапе.

Задача данной конференции, во многом, как раз и заключалась в обнаружении проблемных зон и обсуждении путей их осмысления.

5

Постараемся резюмировать основной нерв нашего совместного манифеста, – опубликованного как объявление к конференции, статьи по итогам которой напечатаны в настоящем номере журнала, – так, как понимаем его теперь, полтора года спустя.

Склонен ли литературовед-русист к авторефлексии? Способен ли (и склонен ли этим поделиться) осознать обусловленность гео-культурную и историко-культурную своего «габитуса», и такую же обусловленность своих представлений о должном месте литератора (литературоведа, критика и писателя) и литературы в обществе? Иными словами: способен ли осознать и указать на историчность и 'географичность' своих интуиций об автономии литераторского *занятия*, в т.ч. о совместимости *его* с другими профессиональными выборами и о зависимости *его* от экзистенциальных выборов, совершаемых литераторами, в т.ч. им самим?

Осознать исторические, географические и экзистенциальные (психологические, духовные) измерения своей социальной положенности (ведь габитус прежде всего социологичен)?

Большинство коллег подошло к проблематике традиционно – оставаясь в рамках традиционной эпистемологии. Историчность, экзистенциальность, ‘географичность’, авторефлексивность литературоведческого/ писательского габитуса рассматривается со стороны: как историчность и т.д. габитуса *третьего лица*, относящегося к исследователю лишь опосредованно, так, как относится объект (естественно) научной рефлексии к ее субъекту. Обусловленность объекта не видится связанной с обусловленностью субъекта. Либо сознание о таковой связи остается имплицитным. Эксплицитны либо ближе к эксплицитности работы Димитрова, Модебадзе и Мегрелишвили, Немченко, Ольги Багдасарян и Нины Барковской, Дагне Бержайте.

Публикуемые здесь работы свидетельствуют о том, что установка на авторефлексию трудно прививается в литературоведческой русистике – по крайней мере среди тех коллег, которые все-таки откликнулись на объявление о конференции, т.е. чьей возможной заинтересованности в предлагаемых на обсуждение темах соображения материального и ‘социологического’³ характера не помешали. О названной трудности свидетельствует обстоятельство, что работа Димитрова, обладающая наиболее подчеркнутой авторефлексивностью, одновременно с тем отказывается от важных особенностей академического стиля. Режимы мысли разведены.

Видимо, остается некая запретная полоса или зона невидимости, сила которой идет не только от неумирающей нормативности для гуманитариев естественнонаучного знания (естественнонаучного знания по представлениям XIX века; незатронутого тем, что можно назвать ‘экологическим поворотом’ в естествознании), но и от архаических корней гуманитарного и, в частности, литературоведческого познания: от неумирающей подспудности культа предков. Справляя символические поминки, литературоведы не решаются на обнажение своей роли, и ‘могила’ становится ‘памятником’.

³ Т.е. догадки или знание о символическом капитале, в рамках гильдии, организаторов конференции.

Это чувствуется в череде аналитических портретов русских литературоведов, выполненных нашими авторами (Медведевым, Марко Саббатини, Лией Бушканец⁴, Барковской, Каравашкиным; по-иному – у Прохорова). Не проникшийся почтительностью к объекту внимания «язык» рефлексивной социологии в данных работах мало востребован (на фоне добросовестного позитивизма, порой «сгущаемого» «речами» интеллигентской советности и/или личной христианской веры). Может возникнуть вопрос, почему он обязательно должен быть востребован? Тем более, что в названных докладах он имманентно присутствовал. Мы бы ответили: не «обязательно», не «должен». Но *имплицитность* его присутствия стоит, на наш взгляд, внимания. Здесь, возможно, не только уважение к «отцам» и «дедам» и небезосновательный пиетет к конкретным из них. Та доля жалости или милости к себе, которая, должно быть, остается у каждого, сколь бы ни трезво до циничности ни рассматривал он свое положение (социальные перспективы), не теряется. Она смещается – на того, в лице кого не было бы неудобным выразить почтение: к гильдии, к общему, в том числе собственному, труду. Это, конечно, гипотеза; притом высказавший ее не в праве рассчитывать на согласие объективированных ею коллег.

Но этот ряд статей – хотя и неравномерно – дал конкретное представление о зависимости литературоведения от своего объекта (оно – и окраинная, и конституирующая часть своего объекта) и от своего «месторазвития». Я имею в виду социо-культурный комплекс, который можно называть по-разному, но в том числе и «светской святостью» и «императивом единства жизни и творчества». Здесь, конечно, остается пустое место (но мы надеемся вызвать опыты заполнить либо хотя бы выговорить эту пустоту): живет ли тот комплекс и в нас (сегодняшних литературоведах, (не)озабоченных историей, биографиями или примером «отцов»)?

Данный ряд статей (подключаем к нему и статьи Уртминцевой и Дануты Шимоник⁵), кроме того, приглашает читающего его литературоведа к саморефлексии (вне зависимости от того, на ком сфокусирована конкретная статья: на фигуре конкретно-

⁴ Публикация работы Лии Бушканец планируется в следующем номере журнала.

⁵ Публикация этой работы планируется в следующем номере журнала.

го литературоведа прошлого, или на коллективном образе многих литературоведов, отражающемся в меняющемся образе писателя-классика).

6

В российском литературоведении советского периода национальная модель жизнетворчества, ставшая предметом рефлексии как магистральная стратегия русской литературы Нового времени (Сергей Аверинцев, Юрий Лотман, Александр Михайлович Панченко), определяет в той или иной степени самосознание и жизнеповеденческую модель самого филолога, в которой ключевое значение приобретает сама личность ученого, нравственно противостоящего тоталитарной системе (Бахтин, Лосев, Лихачев, Дмитрий Максимов, Аверинцев, Лотман, Эткинд...).

Людмила Луцевич вводит понятие «литературного мессианизма» как конструктивной идеи русской литературы с ее религиозными установками на избранничество и спасение, которые воплотились в «мессианском» образе русского поэта; автор видит перенос этой «провидческо-мессианской» функции и на фигуру литературоведа-биографа.

В ситуации, когда отказ от следования официальному курсу приводил к открытым репрессиям (достаточно вспомнить, например, послевоенную кампанию в Ленинградском университете «против формалистских, космополитических и буржуазных тенденций»), внутренне свободным, интеллектуально независимым филологам в стратегии поведения оставался небольшой выбор – либо стать жертвой этой системы, либо существовать на границе официальной и неофициальной культур, что, по сути, представляло собой «катакомбное» существование («Моя церковь внутрь ушла», – говорил Лосев), либо вынужденная эмиграция.

Личное подвижничество (нередко с чертами иноческого аскетизма) филолога становится важнее его корпоративного и институционального статуса, в который он не вписывается прежде всего по идеологическим причинам. В жизнетворческом поведении названных филологов в той или иной степени проступают христианские установки (единство слова и поведения, жертвенность, духовный авторитет, учительство, пророчество). В Лосеве,

Лихачеве, Аверинцеве – в большей степени это выражается в статусе неангажированного мудреца, а в Максимове, Лотмане, Эткинде – в статусе просветителя-интеллекта («школой научной нравственности» называет Эткинд переписку Марка Азадовского и Юлиана Оксмана). Но всех их объединяют общие для интеллигенции качества: во-первых, критичная «работа мысли» («верность здравомыслию», по Аверинцеву), которая в своей внутренней сущности не может быть совместима ни с социальным заказом, ни с конформизмом, ни с ангажированностью; во-вторых, культурная восприимчивость, открытость, существование в «большом времени» мировой культуры, освобождающее от «хронологического провинциализма» советской идеологии (см. подробнее в статьях Медведева, Каравашкина, Барковской).

В условиях тоталитарной системы эта жизнотворческая модель актуализируется как в «объекте» исследования, так и в личности исследователя, которые вступают друг с другом в диалогические отношения, – ценности человеческого достоинства, свободы, памяти, честности, гражданской смелости

В ситуации искусственного разрыва с классической и средневековой традициями эти литературоведы (принадлежавшие до революционному поколению или имевшие с ним непосредственную связь через поколение родителей) выполняли важнейшую функцию восстановления культурной преемственности. Как отмечает в своей статье Медведев, Аверинцев был одним из тех крупнейших филологов, миссия которых заключалась в восстановлении оборванной советской идеологией связи русской культуры с библейской и античной традициями. По мнению Марко Саббатини, деятельность Максимова стала «идеальным мостом», соединившим символизм начала XX в. (к которому с подозрением относилась советская идеология), и молодых ленинградских поэтов (Виктор Кривулин, Александр Кушнер, Константин Азадовский и др.).

Одной из форм полуподпольного существования филологии в советское время стал имевший классические традиции университетский семинар. Таким был Блоковский семинар Максимова на филологическом факультете Ленинградского университета, где он старался, по его собственному признанию, каждую тему окружить «светящейся блоковской атмосферой» (см. подробнее в статье Саббатини). О таком семинаре, сохранявшем во-

преки антифилологическому духу истории «филологический огонь», писал Осип Мандельштам в начале 1920-х гг.: «филология – явление домашнее, кабинетное. <...> филология – университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология – это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках»⁶. На таком семинаре, как отмечает Мандельштам в случае с Розановым (который одомашнил литературу и «филологию»), можно увязнуть «с головой в строчке любого русского поэта»⁷. Надежда Мандельштам вспоминает, что поэт имел в виду семинар проф. Шишмарева, в котором участвовал и Гумилев: «Они читали старофранцузские тексты, и любовь к ним Мандельштам сохранил на всю жизнь. Я знала Шишмарева уже стариком, и он нежно вспоминал своего ученика Осю Мандельштама, способного, но ленивого филолога»⁸. И, быть может, именно этот семинар определил то, что вся жизнь Мандельштама «ушла на защиту того, что он называл 'филологией' и связывал с внутренней свободой, а мы жили в царстве мертвых, лишенных смысла слов, которыми дурманили народ»⁹.

Как может показаться, в части статей, посвященных персоналиям, присутствует чрезмерный пиетет. Возможно, этот акцент объясняется: во-первых, масштабом самой личности избранных героев; во-вторых, «русским» различием личностного и институционального, о чем писали Аверинцев и Лотман; в-третьих, тем, что опыт российского литературоведения XX века не может не видеться (особенно из России) прежде всего как глубоко трагический, когда, по слову поэта, «строчки с кровью – убивают... и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Этот травматический опыт нуждается в осмыслении, которого в российском общественном сознании в полной мере не произошло (официального осуждения репрессий в гуманитаристике

⁶ Мандельштам, Осип. О природе слова // Он же. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1990, с. 172-187, с. 178.

⁷ Там же, с. 179.

⁸ Мандельштам, Надежда. Вторая книга. М.: Согласие, 1999, с. 68.

⁹ Там же.

XX в. в должной степени не последовало, это остается личным, семейным делом¹⁰), – так что авторы статей данного номера выполняют и эту важную, в том числе социальную, задачу. В-четвертых, это диктуется обострением в политической атмосфере современной России, когда в возникшем нигилистическом вакууме (этическом неразличении) личности уровня Лосева, Лихачева, Аверинцева... вновь оказываются во внутренней эмиграции.

7

Процесс «преодоления академизма», «прием осознанной субъективности»: профессиональный опыт Максимова, ставший объектом анализа Саббатини, свидетельствует об опыте конвергенции «двух полушарий» профессии (одного, бывшего на виду и экономизированного – им Максимов зарабатывал, и другого, остававшегося в тайне и в режиме дилетантизма – в экономическом смысле). Опыт же Лотмана (вошедший в поле зрения работы Луцевич) свидетельствует о дивергенции: серию диптихов, написанных о своих учителях на грани историографии и мемуаров, опубликовать Лотман не решился, как раз в силу их жанровой неоднозначности, их сомнительной принадлежности к историо-

¹⁰ Так, например, усилиями волонтеров 26 июля 2015 г. в Петербурге была открыта памятная табличка «Последнего адреса» Григория Гуковского (проект Сергея Пархоменко), в связи с чем его правнучка написала многое объясняющее в современной России обращение под знаковым заглавием «Нужна ваша память»:

«У большого русского ученого и моего прадеда Григория Александровича Гуковского нет могилы. Он умер под следствием по Ленинградскому делу в Лефортово 2 апреля 1950 года. Его ученикам через пять лет на Лубянке скажут, что тело бросили в яму с известью. Сегодня исследователи из “Мемориала” считают, что тела кремировали и хоронили в Донском монастыре. Когда умерла вдова Гуковского Зоя Владимировна, семья поставила на ее могиле в Комарово кенотаф и мужу. До сих пор его память была частным делом семьи. В это воскресенье ситуация изменится – появится табличка „Последнего адреса“ на доме, который стоит на месте деревянного особняка, откуда уехал, но куда уже не вернулся Гуковский.

Кто в Питере, кто помнит, кто читал, кто учился по его книгам – пожалуйста, приходите. Это важно для семьи и меня лично, но это важно для исторической памяти. Нельзя забывать это убийство»

(Долинина, Кира. Запись в Facebook: 22 июля 2015: <https://facebook.com/kira.dolinina/posts/10206188730470769>).

графии. А тем самым и второй профессии, пусть и в тени первой, не возникло.

Лотман, видимо, не решился на шаг включения себя в ту социо-антропологическую традицию, появление которой он рассмотрел в русском XVII-XVIII столетиях. (Одно из измерений этой традиции – выход за рамки своей профессии, поставка некоего переизбытка «личности» на службу общности, обществу и возможное канализирование этого «избытка» в русло другой профессии.) Или, иными словами, он в отличие от пришедших к «осознанной субъективности» Максимова и Аверинцева избрал режим «акривии» и самосдерживания. Аверинцев пришел к «осознанной субъективности» филолога-и-поэта, сознающего значимость своего выбора и в масштабе XX века, и в масштабе веков послепетровской России, и в масштабе веков христианства. Осознанный выбор, пожалуй, и «икономии» – как режима обмена между профессией, должностью, служением «филолога» и служением верующего, не скрывающего факт своей веры и решающегося делиться своим опытом созерцания духовных реальностей, публикуя духовные стихи. При такой постановке вопроса, однако, может оказаться (и в самом деле оказывается), что ближе к сердцевине личности Аверинцева был режим занесения в тетрадь духовных стихов, а не режим филологических штудий. Что Аверинцев пошел на ответственный компромисс с миром не тем, что филолог Аверинцев стал писать и публиковать духовные стихи, а тем, что христианин и духовный писатель Аверинцев продолжил писать и публиковать литературоведческие работы.

Кому на службу поставляем свой переизбыток «личности» и осмеливаемся ли дать ему социально-узнаваемый контур?

Но где же связь между тем переизбытком и нынешним поиском места под солнцем?

Как же это происходит у писателей? Сопрягают ли они – и каким образом – свои «прочие» профессии с профессией писателя? «Полипрофессиональный» писатель Александр Куприн (о чем идет речь в откладываемой на следующий номер работе Даныты Шимоник) сделал выбор, который, скорее всего, балансирует между конвергенцией и дивергенцией, между абстрагированием от прочих своих профессий и откровенным рассказом о

себе-зарабатывающем-не-писательством. Является ли опыт прочих профессий лишь «материалом» для Куприна-писателя?

Если приемлемо отождествление режима сопряжения «жизни» и «творчества» от первого лица с режимом поддержания диалога, то такие диалоги бывают «монофоническими» и «диафоническими». Максимов и Аверинцев (при всей разнице их отношения к поэзии), например, попадают в эпицентр, порой дирижируют «диафоническими» «диалогами»: литературоведение и лирическая поэзия, литературоведение и духовные стихи, – а может, иногда и режиссируют их.

Часть авторов (Васильева, Бержайте, Петкова, Пиотровска) сосредоточилось на геокультурной обусловленности габитуса литературоведа, конкретно, на таком измерении этой обусловленности, как бремя или выбор быть межкультурным посредником. Четверо (Виктория Захарова и Елена Дзюба, Люцканов, Каравашкин) обратились к другому ее измерению, к тому, что в рецепировавших греко-римскую древность культурах называлось «гением места».

Работа Петковой сопоставляет две стратегии выживания, или позиционирования себя, в поле историко-филологической науки Болгарии в 1920-е – 1930-е гг.: одна нацелена на эксплуатацию того гетерономного ресурса от политики, который обеспечен этноцентризмом болгарского научного поля; другая – на небольшой ресурс, который академическая институция может предложить помимо своей зависимости от политического поля, на признание узкого круга коллег, на признание в будущем. Оба протагониста ее статьи (М. Попруженко и П. Бицилли) – эмигранты, и оба не выпадают из траектории ожидаемого ими поведения посредников.

Работа Пиотровской о Базыли Бялокозовиче и Виктории и Ренэ Сливовских в основном проигрывает ту же диспозицию, но при иных историко-культурных обстоятельствах: Польша, период советской доминации (и гетерономного ресурса от политики, обусловленного не этноцентризмом, а более сложной силовой конфигурацией), а протагонисты «местные», не иммигранты. Основное отличие между двумя случаями – это, кажется, успешность дальнесрочного вклада Сливовских и неуспешность такового Бицилли. Комедия, поддержанная исторической преемственностью, – и драма с неясным исходом из-за специфической ком-

бинации «разрывов» и «связей» между межвоенным, тоталитарным и пост-тоталитарным периодами жизни болгарского академического поля.

Одна из работ, молча обращающаяся к понятию «гений места», дает исчерпывающую информацию о знаковых фигурах и об изучении одного из локальных (сверх)текстов русской литературы, культуры и... языковой картины мира (Захарова и Дзюба). В статье читателя стараются убедить, что данный локальный текст заслуживает особого внимания на фоне других – потому, что является скорее микромоделью «общенационального» «сверхтекста», чем его частью (символом или хотя бы метафорой, а не синеждохой). Апологетический тон по отношению к своему объекту и неохотность в допущении его сконструированности или хотя бы историчности заставляет задуматься об основаниях (мотивах) выделения и выбора такого объекта, как конкретный локальный (причем не какой-нибудь, а родной локальный) текст национальной литературы/культуры. Но как раз такая авторефлексия отсутствует. Стоит отметить и то, что данный локальный текст ставится жестко в рамки русского национального, а не какого-нибудь суб-, супер- или транснационального (сверх)текста. Ориентация на топику «положительного» (на произведения данного регионального сверхтекста как на выявляющие возвышенное, прекрасное и *'положительно внемерное'*, напр. потенциал опережающего литературного развития) и общенационального свидетельствует, кажется, не столько о силе воздействия «гения» данного места (города, региона) на своих исследователей, сколько о поиске литературоведами «места под солнцем» в рамках национального культурного поля. Элементы авторефлексивности в обсуждаемой статье связаны как раз с осознанием своего места в академическом поле, в поле культуры и в отношении поля политики на национальном уровне, а не с осознанием отношений взаимобусловленности между собой как исследователями локального текста и реальностью того текста. Это свидетельствует о преобладании социологической чуткости над гносеологической, что не может не быть значимой деталью того – не лишнего преднамеренности и сознательности – коллективного автопортрета, той автотематизации, которой является сумма опубликованных по итогам нашей конференции статей.

На наш взгляд, ценно, что не получилось приглаженного полиптиха состояния нескольких не-российских русистик (болгарской, грузинской, латвийской, литовской, польской, канадской). Стоит обрадоваться тому, что коллеги подошли к проблеме дать представление о породивших их (коллег) национально-культурных контекстах непохоже, вплоть до несоположимости, несовместимости. С одного конца – добротное и скупое на анализ и оценки изложение с высоты птичьего полета (конечно, напрашивается аналогия с поэтологическим конструктом всевидящего-и-невидимого повествователя); с другого – рассказ от первого лица единственного числа, отказывающийся надеть форму академического письма с его библиографическими ссылками и прочими характеристиками, отказывающийся даже объективировать место своего происхождения, должного произнесения и референции, одним словом, свое местосознание («здесь», вместо ожидаемого редакторами текста «в Болгарии»), настаивающий, наконец, на сохранение своей, местной, графики (тип кавычек). Стоит порассуждать о том, случайна ли в данном (нашем) случае географическая дистрибуция большей-меньшей субъективации изложений? Где может литературовед позволить себе больше непатетического лиризма – у себя дома или в гостях? В гостях у кого? Присутствуя на заседании или просто посылая текст, чтоб быть прочитанным? Социологически (разумеется, микросоциологически) релевантны (смысленны) ли такие вопросы?

Три из работ, посвященные русистикам вне России, избирают своей темой закончившиеся либо заканчивающиеся исторические циклы. Одна из них – с позиции участников завершаемого цикла (Модебадзе – Мегрелишвили), две – с позиций, претендующих на полу-вненаходимость (Чхаидзе, Люцканов). Они либо слишком категоричны в провозглашении интеллектуальных ориентиров для последующего исторического цикла (работа о местосознании болгарской русистики), либо слишком невнимательны к тому, что оставленный на обочине «позавчерашний» цикл может дать современности, т. е. циклу, начинающемуся сегодня (работы о грузинской русистике). Работы о грузинской русистике также находятся в сильной зависимости от относительно высокой специализированности (дифференциации) науч-

ного поля в рамках цикла «вчерашнего».¹¹ Мы умышленно не говорим «досоветский», «доимператорский» и т.п., потому что «позавчерашний» день грузинской русистики разбросан, на наш взгляд, по разным историческим периодам. Что касается «вчерашнего», завершившегося либо завершающегося на глазах, то его относительно однозначно можно отнести к советскому периоду истории Грузии. Имплицированными и эксплицитными выборами своего автора статья Чхаидзе поднимает ряд вопросов, имеющих отношение к одной из центральных проблем нашей конференции: видит ли литературовед свою работу как принадлежащую к какой-либо традиции, и сознается ли он в такой принадлежности? При таком взгляде на статью (и не только на эту) историографические и методологические просчеты становятся симптомами принадлежности к определенной традиции, а недообъек-

¹¹ В одной из них – и сильная зависимость от, так сказать, фактографической «Вульгаты» «вчерашнего» цикла. Следуя за нормативным, в рамках поля изучения русско-грузинских литературных взаимосвязей, исследованием (а точнее, комментированным собранием источников), 1960-х гг., Чхаидзе считает, что «русская тема» в грузинской литературе «начинается» с произведения Арчила II «Восхваление и порицание царей» (1709 г.), в котором, в рамках десяти строф из более семидесяти, восхваляется Петр I. Политические соображения такого решения составителя антологии советской эпохи Вано Шадури понятны. Такое начало соответствует архетипу дружбы-покровительства, дружбы-патронажа, где, конечно, роль патрона *заведомо* отведена русским. Разработку русской темы, однако, следует возвести по меньшей мере к произведению «Восхваление венценосцев» (неизвестного автора, ок. 1222 г.; вступ. статью и комментированную публикацию в русском переводе см.: Кекелидзе, Корнелий. Этюды по истории древнегрузинской литературы. [Двуяз. изд.]. Т. XII. Тбилиси: Мецниереба, 1973, с. 164-232; «русскую тему»: с. 193-196 и 200-201; первая публ. вступ. статьи и перевода 1954 г.). Но учесть данный культурно-исторический и литературный факт означало бы пересмотреть всю мейнстриймтовую мифологию русско-грузинского межлитературного взаимодействия (хотя бы с оглядкой на написанное Сьюзан Лэйтон, а также досоветскими грузинскими исследователями русско-грузинских культурных контактов), а такой пересмотр, видимо, не входит в интенциональную рамку исследования Чхаидзе, судя по ее опрометчивому доверию к мнению, которое, опираясь на применяемую ею же теоретическую рамку, заведомо политизированно и, следовательно, неблагонадежно. К двум «грузинским» статьям, вызвавшим наш интерес в сильнейшей степени, вернемся отдельно (И. Л.).

тивированность этой принадлежности проявляет ту же симптоматику.

Историчность (и изменчивость, и повторяемость) интуиций о том, что называют автономией поля художественного производства, а иногда творческой свободой, стала объектом интереса Голубевой, Кругловой, Немченко.

Несколько работ обращаются к проблеме поиска современным литературоведением места под солнцем, места не на обочине поля культуры (Литовская, Загидуллина, Багдасарян – Барковская): «от третьего» (наблюдая поиски других) и «от первого» (рассматривая свои собственные поиски) лица, не обращая и обращая внимания на «ревность» политического поля, на отношения конкурентности, а не комплементарности, между государственной бюрократией и гильдией литературоведов. Намечается несколько путей продления своей социальной значимости. Социотоп императорского двора (Долгушин) может служить микромоделью одного из возможных (но не жалуемого) решений. Топика (скорее топики) эмигрантологии и утопии, востребованные нынешней и российской и нероссийской русистикой (Мних), кажутся эффектами смещенной авторефлексии: сублимированными образами других, более «жалуемых», путей самосохранения и самопродвижения.

8

Ольга Табачникова (ее статью предполагается опубликовать в следующем номере журнала) настаивает на особом – религиозно-этическом и личностном – характере литературоведения как одной из гуманитарных дисциплин. При обращении к художественному произведению, по мнению автора, важнее доверять интуиции и откровению, чем анализу и типологизации. Призыв к литературоведению «с человеческим лицом» не может не вызывать симпатии, однако надежда разместить такое литературоведение на «ничейной территории между верой и знанием» представляется утопической.

Здесь мы ставим многоточие, потому что надеемся: опыты саморефлексии авторов статей, показав, что литературоведческая русистика сегодня – это живое пространство, где страсти по поводу текстов литературы соседствуют со сложностью само-

определения исследователей, подтолкнут читателей к размышлениям о том, почему они занимаются литературоведением, что́ могут сделать для увеличения его «прибыльности» в современном обществе, является ли изучение русской литературы обязанностью, на которую они биографически обречены, или способом реализации экзистенциального императива единства жизни и творчества.